

ГОСТИ

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Гости

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Гости / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Двадцать восемь лет назад двое молодых аспирантов, братья Соколовы, на спор вписали в исходящий калибровочный поток большой антенны свой короткий «привет» — уверенные, что этой мальчишеской подписи никто и никогда не услышит. Артём с тех пор прячется в глухой обсерватории и слушает тишину. Лев превратил ту ночь в культ и десятилетиями продаёт залам красивую легенду о храбрецах, заговоривших со звёздами. И вот однажды на слабом канале старого спектроанализатора всплывает та самая волна — гребень в гребень, фаза в фазу. Их подпись вернулась. Кто-то её услышал. И теперь идёт к Земле — молча, точно, по всем законам физики — задать один-единственный вопрос: кто именно звал и имел ли право звать за весь вид.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Тот, кто слушает тишину	5
Часть вторая. Расцвет ответа	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Гости

Часть первая. Тот, кто слушает тишину

Тишина у Артёма Соколова звучала по-разному.

Была тишина исправная — ровный водопад шумов, в котором дышали галактики: реликтовое эхо Большого взрыва, потрескивание далёких пульсаров, ленивый разговор межзвёздного водорода сам с собой. Эту тишину он любил. Она ничего не обещала и потому никогда не лгала. Двадцать один год он приходил в неё, как приходят к постели тяжелобольного, о котором давно всё известно, — сидеть и слушать дыхание.

А сегодняшняя тишина была с заусенцем.

Он заметил его в три сорок, на пятом часу смены, когда обсерватория «Ветлуга-2» окончательно осталась одна во вселенной. Посёлок под холмом спал. Шоссе за лесом молчало. Дежурный дизель на первом этаже тянул свою ноту, ровную, как зуд. В аппаратной пахло горячей пылью и канифолью, и холод бетонного пола доходил сквозь подошвы даже в июле. Всё было, как всегда, — кроме зелёной кривой на мониторе старого спектроанализатора, которая перестала быть ровной.

У самого края, там, где обычно лежал плоский шум, вспухал крошечный горбик. Регулярный. Слишком регулярный, чтобы быть небом.

Артём подвинул кресло ближе. Кресло скрипнуло на весь зал, и он поморщился — двадцать один год, а всё не смазал.

Он знал этот зал наизусть, до последней царапины на пульте, до каждой перегоревшей клавиши. «Ветлугу» давно списали бы, если бы кому-то наверху было не всё равно; но всем было всё равно, и это Артёма устраивало. Сюда его когда-то приняли из милости, не спрашивая, почему человек с его именем прячется в глуши, — а он и не рассказывал. Здесь небо было к нему честным. Это всё, чего он просил у жизни последние двадцать восемь лет: чтобы хоть что-нибудь оставалось честным.

— Наводка, — сказал он вслух, чтобы услышать хоть чей-нибудь голос. — Гармоника от насоса. Земля.

Он прогнал сигнал через режекторный фильтр — тот, что вырезал заводскую грязь, помехи от ЛЭП, отголоски посёлка. Горбик остался.

Он переключился на резервный приёмник. Горбик остался, чистый, словно и не заметил подмены.

Тогда Артём сделал то, чего не делал ни разу за всю карьеру: отсоединил внешнюю антенну совсем. Оставил анализатор слушать пустой кабель — глухую медь, отрезанную от неба, из которой в принципе ничего не могло прийти.

Горбик остался и там. Слабый. Упрямый. Будто впаянный не в антенну, а в сам прибор. Будто в самую комнату.

Артём долго смотрел на него. Потом сделал то, что делал всегда, когда пугался: перестал думать и начал записывать. Метка времени. Несущая частота. Период повторения. Пальцы двигались сами, аккуратно, как у человека, который боится расплескать полное до краёв. Он не позволял себе назвать то, на что смотрел. Назвать — значило впустить.

За окном аппаратной небо потихоньку светлело — не рассветом, до рассвета было ещё далеко, а тем сиреневым, ненастоящим свечением, каким оно бывает перед грозой, которой не будет.

Он всё-таки не назвал. Он сохранил файл, закрыл его и встал поставить чайник, и руки у него были почти спокойны.

На кухне при аппаратной он налил кипятку в кружку с отбитой ручкой и стоял, грея о неё ладони, хотя ночь была тёплая. Внизу, у дизеля, дремал сменщик Пал Палыч — единственный человек, которого Артём видел здесь чаще раза в неделю, и то потому, что мимо не пройти. Можно было спуститься, растолкать его, сказать: посмотри, тут странное. Можно было позвонить в областной центр, в институт, поднять дежурного. Он даже взялся за телефон — экран засветился буднично, три палочки сети, ровная полночная тишина мира, ещё не знающего, что он уже не один. Артём подержал телефон в руке и положил обратно, экраном вниз.

Двадцать восемь лет он не звонил никому первым. Не потому что забыл, как это делается. Потому что каждый раз, снимая трубку, слышал за гудками отца — и клал её.

Он пришёл на «Ветлугу» через год после смерти отца и через два — после того, как от него ушла жена, не выдержав жизни с человеком, который разговаривает только с небом. Ника тогда была совсем маленькой. Он говорил себе, что прячется ради дела, ради чистого неба над глухоманью, где нет городских помех. Правда была проще: здесь его никто не спрашивал про «привет». Здесь можно было двадцать лет слушать чужие галактики и ни разу не услышать собственную совесть.

###

Фары он увидел раньше, чем услышал мотор, — два размытых пятна ползли вверх по серпантину сквозь низкий туман, ныряя за деревья и снова выныривая.

Артём вышел на крыльцо. Гость на «Ветлуге» в четвёртом часу ночи означал одно из двух: либо авария внизу, либо приехала Ника. Второе было хуже.

Она заглушила двигатель, но фары гасить не стала, и он стоял в их свете, как на допросе. Дочь вышла — высокая, в чужой армейской куртке, которой он на ней не помнил. На груди у куртки тускло блестел значок: латунная синусоида, две волны, гребень и впадина. Он знал этот рисунок лучше собственного лица. Двадцать восемь лет назад он сам начертил его на салфетке.

— Я за коробками, — сказала Ника вместо «здравствуй». — Мамиными. Ты говорил, они на чердаке.

— Здравствуй, — сказал он.

— Так они на чердаке?

Он посторонился, пропуская её в дом. От неё пахло костром и чужими людьми — тем плотным, обжитым запахом, какой бывает у человека, наконец нашедшего своих. Она поднялась по тёмной лестнице уверенно, ни разу не тронув перил, и Артём вдруг понял, что она давно не спрашивает у него дороги в этом доме. Дом перестал быть общим как-то незаметно, между делом, пока он слушал небо.

На второй коробке Ника задержалась. Сквозь мягкий картон просвечивал угол чего-то знакомого, и она вытащила это, не спрашивая, — фотографию в рамке. Мать, молодая, у той самой большой антенны, смеётся, придерживая волосы от ветра; рядом двое — он и Лёва, худые, лохматые, бессмертные. Снимок сделали за неделю до той ночи.

— Она верила, что вы сделали великое, — сказала Ника, разглядывая мать. — Ты знал? Она мне перед смертью говорила: твой отец однажды заговорил со звёздами. Так и сказала — «заговорил со звёздами». А ты потом двадцать лет молчал даже со мной.

— Она не знала, — сказал Артём прежде, чем успел прикусить язык.

— Чего не знала?

Он не ответил. Ника подождала — она всегда ждала на секунду дольше, чем стоило, — и убрала фотографию к себе, за отворот куртки, под латунный значок.

Коробки они снимали вдвоём, молча. Пыль висела в жёлтом свете единственной лампы, медленная, как в воде. На одной коробке чёрным маркером было выведено рукой покойной

жены: «Никины рисунки, не выбрасывать». Артём отвернул её надписью к стене, чтобы Ника не увидела, и тут же понял, что делает это зря, что от этого только хуже, — но было уже поздно.

На третьей коробке Ника остановилась и, не оборачиваясь, сказала в темноту чердака:

— Расскажи про привет.

Артём поставил коробку. Очень ровно, на самый край балки.

— Там нечего рассказывать.

— Дядя Лёва рассказывает. Целыми залами. — Она повернулась, и значок на куртке качнулся, поймав свет. — Как вы вдвоём подняли голову к небу и позвали. Как не побоялись, когда все боялись. Люди плачут, папа. Взрослые люди плачут, когда он про это говорит. А ты — «нечего рассказывать».

— Лёва хороший рассказчик, — сказал Артём. — Это разные вещи — рассказывать и знать.

— У встречающих есть человек, — сказала она вдруг, не глядя на него. — Его называют Пастырь. Он говорит: мир делится на тех, кто зовёт, и тех, кто прячется. Ты бы у него и минуты не выдержал.

— Наверное, — согласился Артём. — Я и у тебя не выдерживаю.

Это на миг её сбило — она не ждала, что он согласится. Потом снова затвердела лицом.

— Так расскажи ты. Как знаешь. Я для того и живу с ними, чтобы быть ближе к этому. — Голос у неё дрогнул, и она сама на себя за это рассердилась. — А оказывается, «этого» и нет. Есть дядя на сцене и отец, который прячется в лесу. И между ними — пусто.

Он молчал. Он умел молчать так, что молчание становилось стеной, гладкой, без единого выступа, чтобы уцепиться; всю её жизнь она билась об эту стену — и вот, кажется, перестала. Это было видно по лицу. Она уже не билась. Она прощалась.

— Знаешь, что хуже всего? — сказала Ника тихо, уже без злости, что было куда страшнее злости. — Что ты не гордишься. Хотя чем-нибудь. Хотя одной вещью за всю жизнь. Дядя Лёва не стыдится. А ты стыдишься даже хорошего. — Она подняла коробку с рисунками, ту самую. — Я уйду к встречающим совсем. Насовсем. Не ищи меня — я всё равно там, где нужна.

Она спустилась. Хлопнула дверь — коротко, точка, а не многоточие. Взревел мотор. Красные габаритные огни качнулись на повороте и утонули в тумане, и туман сомкнулся за ними так плотно, будто её и не было.

Артём остался на чердаке, среди коробок покойной жены, и не мог вспомнить ни одного слова, которое стоило бы крикнуть дочери вслед. Все нужные слова он запер вместе с правдой двадцать восемь лет назад, и ключ давно потерял, и даже не знал теперь, в каком из молчаний его искать.

###

Внизу, в жилой комнатухе при аппаратной, работал старый телевизор. Артём держал его включённым без звука — ради живого мелькания, как другие держат аквариум. За годы это стало единственной формой человеческого общества, которую он себе позволял: люди по ту сторону стекла, которым от него ничего не нужно.

Сейчас на экране был Лев.

Брат постарел красиво, как дорогая мебель. Костюм сидел безупречно, седина легла к вискам ровно, будто по линейке, и он говорил, чуть подавшись к камере, тем доверительным полушёпотом, который собирал стадионы и продавал книги миллионными тиражами. Артём прибавил звук — на один палец, не больше.

— и я часто спрашиваю себя, — говорил Лев залу, — что двигало теми двумя мальчишками в ту ночь. Страх упустить? Нет. Гордыня? — Он улыбнулся, показав слишком белые зубы. — Любовь. Простая человеческая любовь к небу, которое молчало непозволительно долго. Они не стали спрашивать разрешения у комитетов и протоколов. Потому что настоящее, друзья мои, никогда не спрашивает разрешения.

Зал зашумел — тёплый, благодарный, готовый плакать.

Артём смотрел на брата, и в нём привычно поднималось двойное, стыдное: отвращение и зависть в одной упряжке. Лев ни разу за двадцать восемь лет не сказал вслух главного. Что «привет» был чистой самоволкой — двое аспирантов на спор вклинили свою строку в исходящий калибровочный поток большой антенны. Что комитет по этике, узнав, требовал молчать и каяться. Что Марина Ковач кричала им в лицо: вы не имеете права говорить за вид, никто из живущих не имеет. Что отец

Артём оборвал себя. Он умел обрывать; это он умел лучше всего.

Но в этот раз оборвать не вышло. Экран погас, и в темноте само собой поднялось то, что он держал на самом дне: ночь, большая антенна, гудящая, как собор, и они с Лёвой у пульта, потные от азарта, хохочущие в четыре руки. «Никто не услышит, — сказал тогда Лёва, вбивая их строку в исходящий калибровочный поток. — В том и вся красота». А отец стоял в дверях аппаратной — они не слышали, как он вошёл, — стоял и смотрел на сыновей так, будто видел их в последний раз. Через шесть недель его не стало. И Артём так и не узнал, что отец хотел сказать в ту ночь, потому что сам, первым, отвёл глаза.

Он выключил звук. Потом, помедлив, выключил и картинку.

И в тёмном, погасшем экране, в холодной стеклянной его глубине, тихо, на самом пределе видимости, дрогнула зелёная волна. Гребень и впадина. Как отражение, которому нечего отражать.

Артём очень медленно повернул голову к анализатору в соседней комнате, откуда сквозь дверной проём падал зелёный отсвет.

###

Горбик больше не был горбиком.

За те два часа, что он поднимался на чердак и хоронил дочь заживо, слабый регулярный сигнал вырос, окреп и лёг на экран уверенной, чистой синусоидой — такой правильной, что больно было смотреть. Артём вывел рядом архивную запись. Ту единственную, которую хранил не в базе обсерватории, а в себе, и всё же однажды, в слабую минуту, оцифровал и спрятал в дальней папке, как прячут яд — не чтобы принять, а чтобы знать, что можно.

Руки не слушались. Он дважды промахнулся мимо клавиш, и это было хуже самой синусоиды — то, что у него, у человека с самыми твёрдыми в области руками, дрожат пальцы. Он заставил себя дышать по счёту, как учил отец: вдох на четыре, задержка, выдох. «Небо не любит спешащих». Небо вообще ничего не любит, поправил он себя, — небо просто есть. Так он думал двадцать восемь лет.

Он наложил одну волну на другую.

Совпадение было полным. До фазы. До последнего микроскопического изгиба, до той случайной неровности, что они с Лёвой не выправили в ту ночь, потому что торопились и хохотали, и потому что были уверены, абсолютно, всей душой молодости уверены, что этой строки не услышит никто, никогда, ни при какой мыслимой жизни.

Это был их привет. Слово в слово, гребень в гребень: «мы здесь, мы слушаем».

Кто-то услышал.

Кто-то не просто услышал — вернул. Аккуратно, без искажений, как возвращают обретенную на улице вещь: вот, это ваше, вы обронили. Двадцать восемь лет назад. Мы подобрали и несли всё это время.

У Артёма замёрзли руки. Он сидел в тёплой аппаратной и чувствовал, как немеют пальцы, точно вся кровь ушла из них куда-то внутрь — слушать.

Он снял со стены наушники. Старые, тяжёлые, отцовские, с потрескавшимся кожаном на дужке и запахом, который спустя столько лет уже только чудился. Он не надевал их с самых похорон — надел когда-то в тот день, чтобы не слышать людей, да так и повесил на гвоздь.

Теперь он надел их снова, сам не зная зачем; может быть, чтобы услышал и отец, где бы отец теперь ни был; может быть, чтобы не быть при этом одному.

Синусоида шла ровно, терпеливо, без начала и без конца — как дыхание того, кто очень долго ждал и теперь, дождавшись, никуда не спешит.

Он поймал себя на том, что отвечает ей вслух — тихо, одними губами, как отвечают на приветствие, услышанное в пустой квартире. «Мы здесь», — сказал он темноте аппаратной, впервые за двадцать восемь лет повторяя те самые два слова, и весили они теперь тонну.

Тишина ответила.

И впервые за двадцать один год Артём Соколов с ужасом и постыдным, острым, ни на что не похожим восторгом понял, что всё это время слушал не он.

Часть вторая. Расцвет ответа

Лев Соколов знал цену тишине в эфире до сотой доли секунды.

Три секунды немой паузы — это провал, зритель тянется к пульту. Две — драматургия. Полторы — интимность, будто говоришь одному человеку на весь тёмный зал. Он держал полторы, глядя прямо в чёрный глаз камеры, и восемьсот человек держали дыхание вместе с ним — восемьсот, купивших недешёвый билет на человека, который однажды в молодости позвал звёзды и с тех пор ни разу не дал им об этом забыть.

— Двадцать восемь лет, — сказал он и дал паузе истечь ровно настолько. — Двадцать восемь лет мы слушаем небо. И сегодня, в годовщину, я хочу, чтобы вы услышали не меня. — Он понизил голос. — Я хочу, чтобы вы услышали тишину. Ту самую, в которую мы тогда бросили наше слово.

Он поднял руку. По его знаку в зале погас свет. И в темноте из динамиков поплыл космос — тот самый благоговейный шелест бесконечности, который Лёва два года назад прикупил у знакомого звукорежиссёра и слегка подкрасил в студии, добавив низов и еле слышного хорала, потому что настоящий космос, если совсем честно, звучал скучновато и по-канцелярски.

Красиво. Он всегда безошибочно чувствовал, где реальность нужно чуть-чуть подтолкнуть, чтобы она стала правдой. Публика не хотела фактов. Публика хотела смысла, а смысл приходилось изготавливать вручную, и Лев делал это лучше всех в стране.

На боковом экранчике суфлёра загорелась подсказка: «ФИНАЛ БЛОКА. К микрофону выходит Н. — история встречающей». Через минуту на сцену должна была выйти девочка из движения — славная, горящая, из тех, что смотрят на него, как на пророка, — и рассказать залу, как «привет» братьев Соколовых привёл её к вере в контакт. Лёва не выносил слова «вера» рядом со словом «наука», но публика его обожала, а он давно научился давать публике то, что она любит, и называть это просвещением.

В наушнике-петличке зашуршал голос режиссёра: «Лёва, после девочки — крупный план, дай слезу, у нас цифры». Лев чуть заметно кивнул в пустоту. Девочку он видел на прогоне: лет девятнадцать, значок встречающих, глаза как у новообращённой. Сейчас она выйдет и расскажет залу, что «привет» братьев Соколовых спас ей жизнь — вытащил из какой-то ямы, дал смысл. Лёва знал цену таким историям и всё же берёг их: чужая вера была тем топливом, на котором работал он сам. Он её не создавал. Он только не мешал ей гореть и грелся у огня.

Он набрал воздуха для подводки.

И тут погас суфлёр.

Не мигнул — погас начисто, будто из него выдернули душу. А следом, по всему залу разом — по большому заднику сцены, по мониторам в проходах, по восьмистам телефонам, вспыхнувшим в темноте синхронно, как поднявшаяся стая, — пошла волна.

Зелёная. Гребень и впадина.

Синусоида.

Восемьсот телефонов светились в темноте зала одной и той же волной, и восемьсот лиц смотрели уже не на сцену — вниз, в ладони, где пульсировало одно и то же. Где-то вскрикнула женщина. Кто-то засмеялся — тем нехорошим смехом, что ближе к слезам. А Лев стоял в луче единственного аварийного прожектора, у мёртвого микрофона, и понимал с ледяной ясностью профессионала: он потерял зал. Впервые за двадцать восемь лет он был здесь не главным. Главным стало то, что светилось у всех в руках.

###

Потом Лев не мог восстановить порядок следующих минут. Память сохранила только осколки — слишком яркие, чтобы сложиться в связное.

Он помнил, как оказался в фойе — не соображая зачем, гонимый животным, детским желанием увидеть небо своими глазами. Как стеклянные двери театра отразили город, которого не должно было быть.

Мегаполис горел экранами. Беззвучно. Небоскрёбы, обычно оравшие рекламой на разные голоса, теперь пульсировали все в одном ритме — биржевые табло, новостные ленты, витрины, гигантские фасадные медиасетки, — вся световая кожа города дышала одной волной: гребень и впадина, вдох и выдох, от горизонта до горизонта. Машины стояли поперёк улиц с распахнутыми дверями. Люди высыпали из машин и стояли неподвижно, задрал головы, и лица у всех были подсвечены снизу зелёным — как у детей, обступивших костёр.

Прямо перед дверями, уткнувшись лбом в стекло с той стороны, стояла женщина с ребёнком на руках. Ребёнок спал. Женщина беззвучно шевелила губами, и по её лицу, зелёному в свете экранов, текли слёзы — не ужаса, а счастья, того чистого, страшного счастья человека, чья молитва вдруг сбылась наяву. Лев смотрел на неё сквозь стекло, разделённые тремя сантиметрами и целой пропастью, и думал только одно: она молится тому, что двое мальчишек придумали на спор. Их шутке. Их подписи. И теперь эта шутка снижается к Земле.

А над городом, высоко, полыхало сияние, какого на памяти Льва здесь не случалось. Здесь, на этой широте, где отродясь не видали полярных огней, небо шло медленными зелёными и малиновыми полотнищами, тяжёлыми, торжественными, будто кто-то там, наверху, не спеша разворачивал знамёна перед въездом.

Телефон в руке Льва завибрировал. Экран, пульсировавший синусоидой, на миг очистился до черноты, и по нему поползли слова — не пришедшие в мессенджер, а проступившие сквозь него, поверх всего, на всех языках сразу, и по-русски в том числе, ровным незнакомым шрифтом:

ИДЁМ. ПОДТВЕРДИТЕ, ЧТО ЗВАЛИ.

Слова стояли на всех экранах мира разом — Лев знал это, чувствовал спиной, — на каждом телефоне, каждом табло, каждой погасшей и вновь ожившей ради одной этой фразы витрине. Восемь миллиардов человек читали сейчас одно и то же короткое предложение и понимали одно и то же: их спросили. Никогда прежде кто-то извне не спрашивал человечество — и не ждал от него ответа по существу.

Толпа на площади выдохнула — Лев услышал этот выдох даже сквозь стекло, единый вздох тысяч глоток, — и он не смог разобрать, чего в нём было больше, ужаса или счастья. Может быть, на таком пределе это и было одно и то же.

Кто-то дёрнул его за рукав — администратор зала, белый как мел. «Лев Андреевич, что делать, люди не расходятся, полный зал в темноте, они вас спрашивают» Лев открыл рот, чтобы ответить, — и не смог. Впервые безотказная говорящая машина внутри него дала сбой. Потому что все слова, которые он знал, были про то, как это прекрасно. А сейчас ему было не прекрасно. Ему было страшно так, как бывает страшно ребёнку, который заигрался, крикнул в колодезь — и колодезь вдруг ответил.

Сам он почувствовал совсем иное. Под рёбрами, холодно и очень ясно, шевельнулась мысль, которую он двадцать восемь лет заговаривал словами, деньгами, славой, чем угодно:

Оно вернулось. И теперь спросит, кто именно звал. По имени.

###

Маску он надел рефлекторно — как надевают её тонущие, не думая, потому что иначе пойдёшь ко дну.

Через полчаса он уже стоял перед первой подвернувшейся камерой на ступенях театра. Свет автономного прожектора резал сияющее небо, гримёр где-то потерялся, и Лев говорил, говорил, потому что говорить было его единственным способом не падать.

— То, что вы видите, — не катастрофа, — произносил он в объектив, и голос слушался, голос был как влитой, старый добрый инструмент. — Это ответ. Тот самый, которого мы ждали

целую жизнь. Мы звали — и нас услышали. Сегодня сбывается то, во что некоторые из нас верили, когда над ними смеялись

— Лев Андреевич! — Молодой репортёр совал микрофон, и рука у него ходила ходуном. — Правда, что зонд идёт именно на ваш сигнал? На тот «привет»? Что теперь будет? Что нам делать?

— Мы будем достойны, — сказал Лев красиво и почти поверил себе сам.

И в ту же секунду телефон в кармане завибрировал иначе — коротким настойчивым узором, который он однажды поставил на один-единственный контакт и с тех пор ни разу не слышал. Одиннадцать лет не слышал.

Он ушёл за колонну, отвернулся от камер. Принял вызов. Связь хрипела и рвалась, будто линию тянули сквозь тот самый шторм, что шёл сейчас по небу.

— Поздравляю с премьерой, — сказал в трубке голос. Сухой, немолодой, женский. Голос, который он узнал бы и через сто лет, потому что этот голос когда-то, в лицо, назвал их с Артёмом самозванцами — и оказывался, как выяснялось теперь, прав каждый прожитый с тех пор день. — Ковач. Ещё помнишь такую?

— Марина Тихоновна. — Лев прикрыл ладонью свободное ухо. — Сейчас, право, не лучшее

— Лучшего не будет, Лёва. Другого времени у нас с тобой больше нет вообще. Слушай и не перебивай. — Пауза, в которой хрипел рваный эфир. — Зонд разговаривает не с человечеством. Ты понимаешь? Не с президентами, не с академиями. Он разговаривает с подписью. С той волной, которую вы вдвоём, своими руками, вписали в поток. Для него это не сигнал цивилизации — это реплика в диалоге, начатом двумя конкретными людьми. И он не станет говорить ни с кем другим, пока эти двое не подтвердят приглашение лично. Своими именами. Ты понял, что я тебе сказала?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.